

ГАМИД ПИРИЕВ

РАССКАЗЫ

Перевод Ниджата МАМЕДОВА

Поэма для воробьев

Утренняя свежесть подобралась с первыми лучами покуда не взошедшего солнца. Декабрь вступал в свои права...

Мирза открыл глаза и выпрямился в постели, и тут же потянулся к тетради, лежавшей на стуле справа от кровати. Это была зеленая двенадцатистраничная тетрадь в линию с вырванными двумя страницами посередине, теперь осталось десять страниц. Мирза иногда пописывал стихи, порой он вскакивал посреди ночи и принимался записывать строки. Набат уже долгие годы ставила по ночам стул подле его кровати, тетрадь с ручкой на стул и стакан воды. Мирза пролистал тетрадь. Тетрадь была чиста. И в эту ночь он ничего не записал. Стихи были увлечением Мирзы, многие в поселке даже не ведали об этом. Сам он бывший железнодорожник, три года назад вышел на пенсию. Написал немало, многое из этих стихов растерял. А то, что осталось, издал небольшой брошюрой лет пять-шесть назад. В брошюру вошли двадцать три стихотворения и небольшая поэма. Не предназначенная для продажи брошюра размером с ладонь, которую он раздал родственникам...

Он оделся и вышел на веранду. Набат развела огонь в печи, и раскаленная печь отдавала жаром. Он выпил пару армуду чая и закурил. Потом надел пальто.

– Пойду за хлебом.

– Соли тоже купи, – сказала жена, когда он переступил порог.

Как только Мирза вышел из дому, холод пробрал до костей. Он поднял ворот. На улице никого. В магазине тоже. Только работавший продавцом племянник Расим, который тоже зяб за прилавком.

– Доброе утро, дядя.

– Доброе.

Расим положил хлеб в продуктовую сумку:

– Что-то еще, дядя?

– Будь здоров... А, еще соли.

– Какой? Поваренной или столовой?

– Вот этого Набат не сказала, – растерялся Мирза. – Дай и той, и другой.

Мирза обернулся и заметил в коробке две копченые селедки, вчера их не было, может, привезли вечером. Только теперь он понял, что за запах дразнил ноздри.

– Свежая рыба?

– Да, дядя. Хорошая рыба.

– Дай ту, большую. Мы давно не ели молочный аш. Набат сегодня приготовит. Расим взвесил самую большую.

– Тогда дай и риса.

– Какого? – посмотрел Расим на пакеты на полке.

– Не знаю, хорошего дай.

Он заплатил и вышел. Холод снова пробрал до костей.

Он вошел домой и положил на стол покупки.

– Свежую рыбу привезли, захотелось отведать. Приготовь на обед молочный аш. И риса купил.

– Ладно. Тогда и молока возьми.

Он выпил еще стакан крепкого чая. Есть не стал, аппетита не было. Снова надел пальто.

– За молоком?

– Да.

– Сейчас дам банку.

Мирза взял банку и пошел к Хейбату. Они с Хейбатом почти одногодки, да и родство отдаленное имелось. Он кликнул Хейбата, вышла его дочь:

– Папа в сарае.

Сарай находится в дальнем конце двора. Мирза пошел к нему и тут услышал Хейбата: «Ну и скотина, тьфу! Чтоб тебе провалиться!..»

– Хейбат, ай Хейбат!..

– Кто там? – показалась голова Хейбата. – Мирза? Всё в порядке?

– Я за молоком.

– Подожди, я сейчас. – Спустя пару минут Хейбат вышел с бидоном. Бидон был наполовину полон. – Скотина проклятая не дает молока. Только попусту кормлю. Все напропалую... Давай налью. Зачем тебе молоко? Горло болит?

– Нет. Я рыбы купил, хочу, чтоб Набат молочного аша приготовила. Давно не ели.

Они вошли в кухню, пристроенную к сараю. Хейбат накрыл марлей бидон и нацедил молока. Взял у Мирзы банку и наполнил доверху.

– Сам-то как, Мирза?

– Да так. Поживаю потихоньку. А ты?

– Эх... Не спрашивай. Ноги болят. До самого утра ворочаюсь в постели, глаз не смыкаю. Сердце тоже болит. Совсем барахлит. Недавно ходил к врачу, к Эльману. Снова выписал мне целую тонну лекарств. Ай киши, что мне с ними делать?

– Постарели мы, постарели... – Мирза взял банку. – Сколько я должен?

– Нисколько. Бери.

Мирза положил на стол один манат.

– Ай киши, говорю ведь, не надо.

– На почин... Ну, давай, я пошел.

По дороге домой он думал о стихотворении, которое хотел написать. Давно уже собирался, но не получалось. В голове крутились отдельные строки, но не складывались в цельные строфы...

По дороге обратно он увидел своего брата Арифа.

– Куда собрался? – спросил он у Арифа.

– У кур корм закончился. Куплю немного пшена.

– Яйца несут?

– Неплохо. Самим нам хватает. А ты откуда?

– Купил молока у Хейбата. Утром взял свежей рыбы. Набат приготовит молочный аш, давно не ели.

У магазина с кормом он попрощался с братом и пошел домой.

Молоко он дал Набат, а сам отправился в сельский клуб. В комнатухе за клубом играли в нарды. Летом и зимой все безработные собирались тут, резались в нарды и домино. Маленький электрический самовар всегда был горяч. Тот или иной посетитель время от времени покупал чай и сахар. Акиф сидел один. Акиф работал в клубе, но никто не знал, кем, даже сам он. Каждое утро он открывал двери, а вечером закрывал перед уходом. Весь день проводил за нардами. Мирза глянул в окно. Акиф читал газету. Заметив Мирзу, тот тут же сложил газету.

– Давай в нарды, – еле донесся его голос за окном.

– Сейчас приду, только сигарет возьму.

Да и сам Акиф еле расслышал Мирзу. Только кивнул.

Мирза зашел в магазин и положил на прилавок три маната, что достал загодя.

– Дай пачку сигарет и сахару в маленькой коробке. А на оставшееся чай в пакетиках.

Он забрал покупки и вернулся в клуб. Сели за нарды. За игрой болтали о том, о сем. В промежутке Акиф встал, наполнил водой опустевший самовар, заново вскипятил. Других посетителей не было.

– Сегодня народу маловато.

– Холодно ведь. Видать, все едят хэшил и ложатся дремать.

– Снега-то нету. Хэшил едят, когда снег выпадает.

– Да ладно тебе. Кто станет привередничать? Холодно, значит, можно. Если снега ждать, так и не поешь хэшил. Не видел разве, в прошлом году снег не выпал.

– Природа другой стала. Не видишь, даже трава. Преподней травы больше нет. Растет какая-то другая.

– Да, замечал.

– И птицы какие-то другие. Вместо скворцов дрозды. Раньше дроздов тут не водилось. Воробьи становятся всё меньше и меньше. А свиристель... Вымерла.

За беседой они потеряли счет игре. Не знали, кто выиграл, кто проиграл.

Приметив за окном школьников, Мирза посмотрел на часы. Полдень.

– Акиф, я пойду поем, вернусь. Утром купил свежую рыбу. Сказал Набат приготовить молочный аш. Если хочешь, давай со мной.

– Приятного аппетита. Спасибо. Вечером вернешься?

– Да, зайду.

После горячего аша ему захотелось вздремнуть. Он лег на диван, и тут за просмотром телевизора его сморил сон. Он поспал два часа. Выпив чаю, вернулся в клуб. Они играли в нарды дотемна. Акиф был не один, пришли и Таир с Али. Играли с очередностью. Когда он вышел из клуба, возвращаясь домой, было уж не так морозно, стояла тихая, приятная погода.

...Хорошее должно выйти стихотворение. Стихотворение о честности, верности, дружбе. Вот бы только его написать...

Он съел еще две тарелки аша.

– Ай, Набат, – сказал он, позевывая за чаем, – сегодня лягу пораньше. Постели мне. – Он допил чай и пошел к себе. Уснул, как только лег.

...Проснулся за полночь. Комнату заливал неземной свет. Царила полная тишина. Он выглянул в окно. Шел снег. Повсюду белым-бело. Он смотрел на снег. Пять минут, десять... Вдруг откуда ни возьмись прилетел крохотный воробей и сел на голую вишневую ветку прямо возле окна. И тут же взлетел обратно. Снег на ветке обжег его лапки. Он клюнул ветку, та качнулась, осыпался снег. Воробей снова сел на очищенную от снега ветку. Нахохлившись, он смотрел на Мирзу, скособочил голую ветку, улетел.

Мирза сел на кровати. Открыл тетрадь и принялся писать. Это было то самое стихотворение, оно лилось на бумагу строка за строкой, строфа за строфой. Он писал и писал, заполнив всю тетрадь. Последние две строфы он написал на внутренней стороне зеленой обложки. Закончив, вывел крупным, отчетливым почерком на обложке заглавие: «Воробьиная поэма»...

Утром встал поздно. Сев на кровати, выглянул в окно, снег перестал идти. Слабо светило тусклое зимнее солнце. Он потянулся к тетради. Успокоился, увидев стихотворение. Это не сон, всё взаправду. Он прочел стихотворение от первой до последней строки. По сути, это не стихи, а поэма. Получилось лучше, чем хотел. Он положил тетрадь на полку, туда, где лежали экземпляры его книги и рукописи.

– Тетрадь не ставь, да и стул забери, – сказал он Набат, когда та пришла ему постелить.

Спустя пять-десять секунд он тихо, чуть ли не шепотом добавил:

– Больше стихов писать не буду.

Крылья болят

*...ибо,
крылья твои не хотели обломаться.*

Хэдиййе Шефагет

Порой ей казалось, что она птица. Хотелось взлететь, но не получалось...

Пустэханым сидела под навесом. Открылась дверца ворот.

– Пистэ... Ай, Пистэ...

Пустэханым не слышала, под старость она глохла. Дверца открылась чуть шире.

Показалась голова Сурийэ.

– Ай, Пистэ...

Сурийэ заметила Пустэханым под навесом и вошла. Она, тихо бормоча приветствие, подошла поближе. Думала, что расспрашивает Пустэханым о житье-бытье. Пустэханым была мыслями где-то далеко. Когда Сурийэ подошла ближе, она подняла голову и увидела ее.

– Ай, Сурийэ, добро пожаловать.

Сурийэ держала в руке гроздь винограда. Она громче повторила свой прежний вопрос:

– Пистэ, как поживаешь?

Пустэханым развела руками и покачала головой:

– Да так... Потихоньку.

Затем она взяла в руку трость, прислоненную к ноге, и встала.

– Зайдем.

– Нет, спешу. Ай, Пистэ, глянь-ка, можно из этого отжать абгору?

Пустэханым сощурилась, глядя на гроздь:

– Да, соком наливаётся. Самое время.

– В прошлом году дел оказалось невпроворот, не успели. Зимой даже капли абгоры не смогла раздобыть. Хоть в этом году мучиться не буду.

Сурийэ в прощальном жесте помахала рукой и пошла к воротам, так же бормоча, как ранее.

– Ай Сурийэ, зашла бы.

– Да нет, спешу, Пистэ. В следующий раз...

Пустэханым проследовала за Сурийэй и проверила, хорошо ли заперта дверца.

Затем посмотрела наружу сквозь почтовую щель. Дверца ворот была старой, не раз покрашенной и потому тяжелой, сгнившей снизу, а большие створы не открывались уже лет десять. Они обновили ворота лет сорок назад, когда расширили старый дом, сняли деревянную дверь и поставили эту железную. Изнутри находился почтовый ящик. Раньше почтальон каждый день опускал в эту щель газеты и журналы, на которые они подписались. Эта традиция исчезла в девяностые годы, больше никто не подписывался на печатные издания, и почтальон больше не приходил. Тогда младший сын Пустэханым вынул почтовый ящик, но щель заваривать не стали. С тех пор Пустэханым время от времени подходила к этой щели и смотрела, что делается в поселке. Не успела она отойти от дверцы, как пришла Наргиз. Чуть дальше у Наргиз располагался одежный магазин. Но он просто назывался одежным, Наргиз там продавала всякую всячину. В магазине отсутствовал туалет, потому Наргиз ходила к Пустэханым. Со временем они сблизилась, Наргиз она считала своей дочерью. Наргиз могла зайти и помочь Пустэханым искупаться, делала уколы, когда та хворала.

Наргиз поздоровалась и зашла в туалет. Вышла, вымыла руки, подошла к Пустэханым, которая вернулась на прежнее место под навесом.

– Как поживаешь, тетя Пустэ?

– Неплохо.

– Чего-нибудь надо?

– Неет, нет. Ничего.

– Ладно, тогда я пошла, в магазине никого. Скоро еще зайду.

– Ай, Наргиз, – окликнула ее Пустэханым у порога, – у тебя остались те гольфы?

– Остались. Сейчас занесу.

Пустэханым весь год ходила в длинных коричневых гольфах. Наргиз быстро пошла и принесла пару гольфов.

– Сейчас заплачу.

– Тетя Пустэ, в прошлый раз ты переплатила. Ничего не надо.

Пустэханым делала только необходимые покупки. И всё поручала Наргиз. Наргиз знала, чего та хочет, что та одевает. Но никогда не брала денег. Она часто говорила неправду. Либо говорила, что Пустэханым «переплатила в прошлый раз», либо «заплатишь в следующий». А Пустэханым ей верила. С возрастом она становилась забывчивой, многого не запоминала.

Наргиз ушла.

Пустэханым прислонила трость у порога и зашла в дом. Она никогда не заходила с тростью. Пару гольфов положила на кровать, а другую пару пошла отложить в шифоньер. На средней полке она увидела точно такие же гольфы. Она заметила только теперь. Пожурила себя за старческую забывчивость и закрыла дверцу шифоньера. Включила телевизор и села на кровать. Раньше в свободное время она надевала очки и читала Йасин по своим покойным: по отцу, матери, мужу. Но в последнее время видела всё хуже и хуже, не могла читать даже в очках. Она взяла пульт и прибавила звук. Шли новости. Но мыслями она была где-то далеко, не слышала диктора...

Открыв глаза, увидела, что внук выключает телевизор. Это был самый младший из внуков, сын старшего ее сына. Он проводывал ее несколько раз в день.

– Да, когда пришел?

– Только что. Увидел, что спишь, и выключил телевизор.

– Сон меня сморил.

Она прищурилась, глядя на небольшие часы: за полдень.

– Бабуль, тебе чего-нибудь надо?

– Сходи в аптеку. У меня закончились таблетки от сердца и живота.

Уже долгие годы лекарства ей покупал этот внук. Она даже названий их не говорила, внук знал всё наизусть. Внук отогнул краешек скатерти, взял деньги и вышел. Вернулся минут через десять. Выложил на стол лекарства. Достал из кармана сдачу и показал бабушке.

– Негодник, верни на место. Дурить меня будешь?

Внук попрощался и ушел.

Пустэханым выпила одну таблетку. Щемило в сердце. Захотела выйти во двор. Зазвонил телефон. Звонила сестра, младшая. Они расспросили друг друга о самочувствии и повесили трубку.

Она вышла во двор, села на стул. Чуть спустя с навеса на нее упала соломинка, она подняла голову, пытаясь разобрать, что это. Прямо над ней, посреди виноградного плюща свили гнездо вяхири. Этих голубей в поселке называли почтовыми. В детстве она слышала, что эти голуби приходят на помощь во время войны, с ними отправляют письма. Кажется, отец рассказывал. Один из вяхирей сидел у гнезда, держа соломинку в клюве.

Она сидела во дворе до самого заката. Наргиз заходила еще два раза, а вечером зашел внук. Только этот внук ее и проводывал. Дети старшего сына работали, свободного времени не находили. А дети младшего сына не появлялись месяцами...

В сумерках она включила свет во дворе, заперла дверь и зашла в дом. Поела приготовленной днем еды с небольшим ломтем хлеба. Потом легла. Годами она жила вот так в одиночестве. Два сына, но ни к одному не ходила. Говорила, пришла невестой в этот дом, из этого дома меня и вынесут.

Днем и ночью Пустэханым была одна. По прошествии времени у Пустэханым слабела память, слабел ум. Она помнила до мелочей детство и молодость. Но вчерашний день припомнить не могла. Затем ей на глаза стали показываться умершие близкие. Но Пустэханым не знала, сон это или явь. Пару недель назад она отправилась в отцовский дом. Под утро увидела во сне отца, мать, увидела, что братья и сестры малы, играют во дворе, и потому соскучилась по отцовскому очагу. Вот и отправилась туда. В том дворе сейчас проживали племянники... И сейчас, как только она сомкнула глаза, перед ее взором встали мертвые. Потом она увидела почтового голубя, свившего гнездо на навесе. С соломинкой в клюве он смотрел на Пустэханым. «Я тоже птица, – промолвила Пустэханым, – но летать не могу. Крылья болят...»

Она не знала, сколько проспала. Вдруг увидела, как открылась дверь в комнату и вошел покойный муж Рахим.

– Ай, Пустэ, – сказал муж, – я пришел за тобой. Пошли.

Пустэханым ничего не сказала. Достала из шифоньера новое платье, надела, надела гольфы, что принесла Наргиз, повязала голову новым платком и приготовилась следовать за мужем. Рахим всё это время ждал. При жизни он не проявлял такую терпеливость. Рахим пошел впереди, Пустэханым за ним следом...

Утром внук увидел, что на двери висит замок. Сообщил домой, спросили у дяди. Обзвонили родню и соседей. Пустэханым не нашлась. Все переполошились. Обыскали всё кругом. Наконец, ее тело нашли в соседнем поселке, на солончаке. Платок по пути развязался и остался на дороге. А ключ от дверного замка нашли в носке гольфа.

Смерть и другие радости

Стояла ранняя весна, когда играет кровь.

Солнце поднималось за крышами отдаленных домов, его лучи просачивались из окна в комнату и играли на заплесневелых от сырости стенах с облупившейся краской.

Хилал проснулся, но не вставал. Лежа смотрел на часы с застывшим маятником. Эти часы – приданое Чешми – уже давно не работали, но они его так и оставили. Хилал дождался восхода, потом откинул одеяло и сел в постели. Чешми сняла постирать пододеяльник, осталась изнанка с цветочным узором. В комнате было холодно. Вчера ночью огонь в печи они не разводили, потому и было зябко. Он оделся и вышел на веранду. Завидев его кошки прыгнули с дивана, стали тереться о его ноги. Он держал двух кошек, одну черную, другую белую. Чешми терпеть не могла кошек, поначалу прогнала их во двор, но Хилал снова завел их домой. И хотя Чешми их на дух не переносила, больше ничего не сказала.

Чешми готовила завтрак на кухне. Она просыпалась спозаранку, совершала намаз, пока Хилал спал, а потом заваривала чай.

Хилал снял со спинки стула изношенный пиджак, накинул на плечи и вышел во двор. Взял горсть зерна из железного корыта, зашел в сарай и насыпал курам. Пять-шесть кур, один петух, и все стары, как сам Хилал. Затем зашел в туалет. Вышел, умылся во дворе водой из крана. Чешми накрыла на стол. Как только Хилал вошел, она налила ему чая. Он насыпал в стакан сахарного песка и перекусил хлебом с сыром. Позавтракав, вышел во двор, открыл двери в сарай и вывел кур во двор, сел на ступеньке и закурил. Петух замахал крыльями, нахохлил перья на шее, стал квохтать, прохаживаясь среди кур, его длинные шпоры терлись одна о другую.

Хилал смотрел на небо. На востоке виднелись темные облака, но пока еще вдали. Чешми открыла двери веранды и выпустила кошек во двор, всё это время они царапали дверь, просясь наружу. Черная кошка села рядом с Хилалом, стала тереться об него. Другая кошка запрыгнула на забор, карауля кур. Забор построили из пористого прибрежного камня. Долгие годы снег и дождь побивали эти камни, кое-где тот обточился, кое-где обвалился. Маленькая деревянная входная дверь тоже сгнила и покосилась, не уместаясь в проем. Да и сам старый дом построили из этого пористого камня. Это был маленький двухкомнатный дом, после женитьбы Хилала к ней пристроили веранду, а в уголке отвели место для кухни.

Хилал выбросил окуроч, встал, услышал чей-то голос, открывая дверь на улицу. Молла Джафар совершал салават. Прямо возле его двери. Он вышел на улицу и тут увидел, как один из молодых поселковых парней возвращается из магазина с хлебом в руках. Он не знал, как того зовут, даже не знал, чей это сын или внук. Хилал не знал молодых обитателей.

– Сынок, – окликнул он парня, – кто умер?

– Дядя Санан. Ночью скончался.

Хилал вернулся домой.

– Чаю хочешь? – спросила Чешми.

– Нет. Санан ночью скончался.

– Аа. Упокой Аллах его душу. Сегодня хоронят?

– Не знаю. Наверно.

– Когда сходишь?

– Через час-два.

Затем он прилег на диване.

Даа, значит, умер и Санан. Санан и Хилал были приятелями. После того, как Хилала с семьей сослали в этот поселок, Санан оказался первым, с кем он сошелся. По сути это даже нельзя было назвать ссылкой. Скорее, переездом. Хилал с семьей были родом из Пиршаги. У отца его Солтана имелась в Пиршаги мельница. В тридцать седьмом году Солтана арестовали. От него не пришла ни одна весточка. Одни говорили, что сослали, другие, что расстреляли... А семью переселили в поселок Мехеммеди: Хилал, его старший на два года брат, младшая сестра и мать. Тогда Хилалу шел шестой год.

Они обосновались здесь, кое-как построили дом. Помогал и Нуру, дядя Хилала. Но и он содержал большую семью, многого не успевал. Так и жили. То ли в пятьдесят шестом, то ли пятьдесят седьмом пришел документ о реабилитации Солтана. Председатель колхоза сказал матери Хилала, что они могут вернуться в Пиршаги. В ту пору Хилал с братом были холосты, а сестра вышла замуж в Мехеммеди. Мать вместе с сыновьями вернулась в Пиршаги. Вернулась и увидела разруху. Долго плакала во дворе. Все родственники пришли их проведать. Раньше те боялись с ними встречаться, ведь они – семья врага народа. А теперь знали, что Солтан реабилитирован, потому и приглашали, не боясь, к себе в гости. Вечером, возвращаясь в Мехеммеди, мать сказала, что больше в Пиршаги не вернется. Плача во дворе, она поняла, что сердце ее не выдержит этого. Тогда старший сын попросил у нее разрешения разжечь очаг отцовского дома. Мать нехотя согласилась. А Хилал остался с матерью.

Они с Сананом жили на одной улице. В одном конце улицы располагался дом Санана, на другом – Хилала. В школьные годы они учились в одном классе. Вместе пасли овец. У Хилала их было мало, семь голов. А у Санана около шестидесяти. После уроков они перекусывали, а потом выводили пасти овец. Иногда украдкой гнали их на колхозные земли. Спихватывались, когда появлялся колхозный сторож – хромой Огтай. Он бежал за ними с палкой в руках. Бегать он не мог, бранился и кидал в них палкой. Но никогда не мог попасть. Выводя пасти овец, каждый брал с собой ломоть хлеба. Перекусывали прямо на ходу. Возвращались домой в вечерних сумерках.

Тогда, в такую же раннюю, как сейчас, весну, в сумерках появлялись летучие мыши. Чуть ли не лезли в глаза. Они побивали их палками. А утром, выходя из дома, видели их трупы, даже собаки к ним не притрагивались...

Хилал проснулся днем, немного поел, переоделся, надел шапку и отправился на поминки. Черные тучи полностью заволокли небо. Выйдя на улицу, заметил Тофика, тот тоже шел на поминки. Они поздоровались, расспросили друг друга о житье-бытье. Тофик посмотрел на небо.

– Дождь будет, – сказал он.

– Да, – сказал Хилал, – скорее всего.

– Хоть бы после похорон.

Во дворе, где шли поминки, собралось немало люда. Пришли все, кто узнал. Хилала с Тофиком проводили внутрь. Старики сидели во внутренней комнате. Молла Джафар читал Коран.

– Пора, – сказал молла час спустя.

Близкие родственники три раза подняли и опустили носилки с телом. Затем человек шесть встали под носилки. Когда стали выходить со двора, начал накрапывать дождь. Процессия медленно шла вперед. Впереди ступал молла, читая Иасин. По пути к процессии присоединились еще немало людей. Одни опоздали, другие узнали только что. Хилал шел, опустив голову, вспоминал прошлое. Тофик что-то сказал, но Хилал не слышал. Он поднял голову и взглянул на Хилала.

– Ай, Хилал, куры твои несутся?

– Да.

– Мои перестали.

– Весенней воды попьют и снова начнут.

Больше они не говорили. Сошли с ровной асфальтовой дороги. Асфальт покрывал только главные дороги поселка, улочки и тупики были в рытвинах. У входа на кладбище дождь усилился. Стал идти смелее. Тело похоронили наспех, набросали землю и вернулись. Глиняная земля кладбища превратилась в грязевое болото, в котором увязали их ноги. Дорога тоже промокла, но покамест не утопала в грязи, как кладбищенская земля. У ворот молла объявил о дате проведения поминок на третий и сороковой день. Люди выразили соболезнование и разошлись. Не осталось никого, кроме близких родственников. Хилал выразил соболезнование сыну Санана и тоже ушел. На полпути его нагнал Тофик.

– Хилал, я в аптеку. Если тебе нужны лекарства, давай вместе.

– Нет, я лекарств не пью... Я свое прожил, лекарствами жизнь продлевать не хочу.

Тофик ничего не сказал, пожал плечами, попрощался у ворот Хилала и ушел.

По народным поверьям, если в свежевырытую могилу попал дождь, жди беды: семеро других умрут. Однажды в молодости Хилал видел такое, дождь попал в могилу, но тогда умерли шестеро. А кто сейчас на подходе? Хилал думал об этом, пока его не сморил сон.

На следующий день дали очередные поминки по Санану. Хилал ходил и утром, и днем. Но долго сидеть не стал. Поминки угнетали его.

На следующее утро он услышал, что умерли четверо молодых парней. Попали в аварию по пути в Кюрдэханы, у выезда Мехеммеди. Это был опасный разезд. На повороте в поселок к гряде камней прибили щит с надписью «Мехеммеди». Поговаривали, что это были камни снесенной мечети, поэтому и происходят там часто аварии. Никто из ребят не выжил. Все они погибли в расцвете сил. Им не было и тридцати, все четверо – единственные сыновья в семье, все четверо женаты, у всех по одному ребенку. Весь поселок переполошился. Сначала хотели дать поминки в мечети для всех четверых вместе. Но родственники покойных не согласились. Днем их похоронили. Вечером Хилал услышал, что отец одного из ребят хотел покончить

с собой, выпил отраву для нематод, его увезли в больницу. Еле-еле спасли.

– А что этому бедолаге оставалось? – покачал головой Хилал. – Как это вынести...

Хилал и сам потерял детей, потому знал, что это за боль. Потому и понимал того отца, понимал родителей всех четверых парней. У Хилала умерли две дочери в детском возрасте, они так быстро ушли, что он ничего не смог предпринять...

На следующее утро пришла еще одна дурная весть. Выпивший отраву мужчина скончался под утро в больнице. Говорили, что ему вдруг стало хуже, и он тут же скончался. Врач не успел помочь. Под вечер тело забрали из морга, обмыли, обернули в саван. Вечером же и собрались хоронить. Но Хилал на погребение не пошел. Третьи похороны за последние три дня, это чересчур.

Вечером, ложась спать, он ощутил тоску. Думал о седьмом человеке. Прежние люди знали, что говорят. Не стали бы говорить понапрасну. Да, в молодости он видел шестерых умерших. Но, может, неправильно сосчитал? Он даже не помнил, кто тогда умер. Помнил только, что все шестеро умерли один за другим. Будто в очередь выстроились.

Спать Хилалу не хотелось, все еще щемило сердце. Он догадывался, что седьмым станет сам...

Утром зарезал двух кур. Дал Чешми:

– Ощипи их, а я схожу за рисом и маслом. Приготовь аш. Днем ходим к дочке. Я соскучился по детям.

Чешми ничего не сказала. Утвердительно кивнула головой.

У Хилала выжила всего одна дочь – средняя. В ту пору заболели все три. У них опухли животы. Отвезли к врачу, дали лекарств, сделали уколы. Старшая с младшей не выздоровели, только среднюю удалось спасти. Ее спасла знахарка из Дигях. После смерти двух его дочерей одна из поселковых женщин посоветовала Хилалу отправиться в Дигях, найти знахарку. Он нашел ее и рассказал о случившейся беде. Знахарка даже не стала идти с ним. Узнав симптомы, сказала, что вылечит от этого недуга виноград: надо каждое утро выжимать виноградный сок и давать ребенку натошак. Стояло позднее лето, винограда росло вдоволь. Таким вот образом дочь удалось спасти.

Дочь была замужем в Фатмаи. Обзавелась детьми. Сейчас готовилась к свадьбе второго сына. Дел было невпроворот, потому не удавалось проведать родителей.

Хилал вернулся с покупками. Чешми ощипала кур. Через час-другой аш будет готов. Хилал окликнул через забор соседа. Тот всегда помогал Хилалу, когда нужно куда-нибудь съездить. Они завернули казаны в скатерть и поместили в багажник. Хилал запер видавшим виды тяжелым замком ворота, и они отправились в путь. Доехав до места, достал пять манатов и сунул в бардачок.

– Дядя Хилал, ей-богу, не надо.

– Нет-нет, зальешь бензин.

– Спасибо. Вечером заехать за вами?

– Нет, дети привезут, не волнуйся.

Они поели аша. Внук вскипятил самовар. Долго беседовали. Тут заметили сгустившиеся сумерки. Дочь принялась упрашивать их остаться на ночь:

– Приходите раз в год, переночуйте хотя бы.

– Нет, – сказал он. – Лучше вернуться.

Зять отвез их на своей машине. Переступив порог, Чешми отправилась принять дестемаз. Хилал вошел в дом и переоделся. Вышел, сел на ступеньке. Закурил. После первой затяжки схватил кашель, он кашлял до слез. В последнее время часто так случалось, дым душил его. Он выбросил сигарету недокуренной. Кошки подсели рядом, поглаживая его хвостами. Хилал тоже немного их погладил по спинке. Кошка – хорошее создание. Как хорошо, что они у него есть. Эти кошки – маленькая ра-

дость Хилала. Он задумался, смотря куда-то вдаль. Чешми совершила намаз, выглянула в дверь.

– Иди спать, – сказала она. – Поздно уже. Чего ждешь?

Ему хотелось сказать «я жду смерти». Но не сказал.

– Ты иди, – ответил он. – Я сейчас...

Небо в объятьях

*...глазам, которые плачут больше плачущих глаз,
но не проливают ни слезинки*

Нармин Кямал

Утром по пути в магазин я повстречал Бахтияра. Он сидел на корточках подле старой собаки у мусорки за углом. Отломив кусок гогала, протягивал собаке. Собака раскрыла пасть, взяла кусок, медленно прожевала и проглотила. Бахтияр протянул ей второй кусок. Собака принялась и отвернулась.

– Ешь давай, свежий гогал даю.

Будто поняв эти слова, та взяла кусок и съела. А затем и третий.

Я подошел ближе и поздоровался с Бахтияром.

– Доброе утро, – сказал он. – Не знаешь, чья собака?

– Не знаю. Впервые вижу.

Собака почти отдавала концы, ее глаза, как у русских алкашей, были налиты кровью, а под глазами свисали мешки.

Я пошел дальше. Когда возвращался, Бахтияра не увидел, а собака лежала на прежнем месте. Перед ней лежал последний кусок гогала.

Я свистнул ей. Она даже не повернула головы. Я взял камень и бросил перед ее мордой. Она подняла голову и оглянулась. Спустя секунд десять встала и пошла нетвердым шагом, но не смогла удержаться и грохнулась наземь. На следующее утро я снова увидел Бахтияра, сидевшего на корточках перед ней. Он отламывал от гогала и кормил собаку.

– Бедная, постарела, выбилась из сил, – сказал он, заметив меня. – Еще и больная, кажется.

– Сдохнет, – сказал я.

– Даа...

В остальные дни Бахтияр каждое утро отправлялся в магазин, покупал два гогала, один съедал по дороге, другим кормил собаку.

Бахтияру было под пятьдесят. Небольшого роста, хилый мужчина. Живет на другой улице. Не женат. У него комнатуха в отцовском дворе, там он и обитает. Живет с братом в одном дворе, но они в ссоре уже два года.

Он пьяница. Подсобляет штукатурщику Хаджи. Всё заработанное спускает на выпивку. Я никогда не видел его трезвым.

Раньше Бахтияр жил иначе. Пить он начал после смерти матери. Мать его помню смутно. Звали ее Тamarой. Все в поселке тепло к ней относились. Она в любое время могла спокойно переступить любой порог – как домочадец. Каждый раз, встречая меня на улице, здоровалась.

– Люблю моего сыночка, – говорила она обо мне.

Кажется, покойная даже не знала, как меня зовут. Не спрашивала, да и я не говорил. Может, и знала, но ни разу не назвала меня по имени.

Под конец она совсем сдала. Слабо видела, еле ходила. Думала только о том, как бы женить Бахтияра, а тот не поддавался на уговоры.

Тётю Тамару все любили. Только с Рустамом она не ладила. Рустам был соседом, младше ее детей. У Рустама имелся мясной магазин. Тамара воевала с ним каждый день: «Режешь скотину, кровь стекает к нашей двери». А Рустам божился. Говорил: «Никак душу не отдашь, совсем надоела».

В последний свой месяц тетя Тамара перестала выходить. Однажды приехала «скорая», и забрала ее в больницу. Недельку пролежала. Рустам каждый день относил ей целую сковородку жаркого. Но тетя Тамара не вернулась. Там в больнице и скончалась. Потом из разговора матери я узнал, что увезли ее поздно. Если б чуть раньше, может, и выжила бы.

С тех самых пор Бахтияр начал выпивать.

С тех самых пор он не просыхает. После выпивки у него поднимается настроение. Без устали говорит с каждым, кто встретится по пути. И меня пару раз останавливал. Говорит и говорит, иногда читает мейхану:

*Катятся, как по маслу, Ширмеммеда санки,
Дети Ширмеммеда толкают в России танки...*

Глаз Бахтияра я не видал. Утром, на трезвую голову, он никому в лицо не смотрит, смотрит себе под ноги. А вечером после выпитого глазает туда-сюда. Смотрит на всё, кроме лица собеседника.

...Бахтияр привязался к собаке. Каждое утро после намаза он отправлялся в магазин, покупал гогал и кормил собаку. А потом шел по своим делам. Вернувшись вечером, разговаривал с собакой. А та, подняв глаза, под которыми свисали мешки, внимательно на него смотрела, будто всё понимала.

Однажды в поселке начался отстрел собак. Бездомных дворняг загоняли в фургон. Собаку Бахтияра тоже забрали. Увезли.

Вечером подвыпивший Бахтияр пришел к мусорке. Я возвращался с работы. Увидел, что он стоит возле мусорки и озирается по сторонам.

– Собаку не видел? – спросил он у меня.

– Нет, – ответил я, – не видел.

Бахтияр впервые посмотрел прямо мне в глаза. Глубокими оказались эти глаза, бездонными. В этих глазах было всё, что он не мог высказать. Мы не знали вот этого Бахтияра.

Он ничего не сказал. Отвернулся и пошел домой неспешным шагом. Я услышал, как он бормочет на ходу мейхану:

*В кожу был чувак одет,
Знал об этом целый свет.
В шкуру козью был одет,
Умер в полночь, его нет.*

На следующее утро Бахтияр снова купил два гогала, один съел, а другой отнес с собой, потому что собаки больше не было. Прошло три дня.

Я проснулся на рассвете. Услышал лай с улицы. Пошел к мусорке. Заметил что-то темнее лая на земле. Пара дворняг, избежавших отстрела, стояла у этого темного пятна и лаяла. Я тут же их отогнал. На земле лежал Бахтияр. Кажется, скончался ночью. Стекшая изо рта пена засохла на подбородке. Глаза открыты. Из кармана выпал заплесневелый гогал. Руки раскинуты. Как будто обнимает небо. Отражающееся в его распахнутых глазах небо было сейчас у него в объятьях.

В его объятьях...